



**П. П. МУРАТОВ**

## **Автобиография Троцкого**

Мы, люди пишущие книги, вероятно, и читаем их как-то иначе, чем их читает вообще «читатель». Я не хочу сказать, что наше суждение о книгах вернее и проницательнее других. Но может быть мы вернее и проницательнее судим на основании книги о том, кто писал ее. В этом нет ничего удивительного, и это не есть с моей стороны притязание на особую долю ума и таланта, отпущенную людям, «делающим» книги. Ум и талант, я знаю, очень часто бывают отпущены в большой доле тому, кто никогда не написал ни одной строчки. Но нам легче, конечно, судить об авторе на основании написанной им книги просто потому, что написание книги, как всякое другое дело, требует профессиональных навыков, которые имеют свой собственный язык. Этот язык нам понятен. Литературное ремесло, как всякое другое ремесло, создает свой опыт.

Мы ведь замечаем иногда в книгах не то, что хочет показать автор, а как раз то, что он надеется скрыть. Не всегда входит в задачу автора показать свое подлинное я, не всегда он и сам понимает, до какой степени выступает в книге это его не вовсе желанное подлинное я. Писать книги — занятие довольно рискованное. Этим способом человек иногда выдает себя так, как он совсем того не хочет и не предполагает.

В своей автобиографии Троцкий намеревался рассказать о себе так, как ему этого хотелось. Он написал большую книгу, два тома. В этой книге он виден достаточно ясно, однако совершенно не так, как ему, очевидно, хотелось, чтобы он был виден. Внимание было устремлено на некоторые места, строки, страницы, которые, по его

мнению, отлично «представляли» его читателю. Но на самом деле высказался он во многом другом — в плане книги, в распределении материала, в тоне рассказа, в том или ином обороте языка или мысли, в попутном замечании, в приведенных им словах другого лица, — одним словом, в разных местах, строках и страницах, которым он сам не придавал того значения, какое он приобрели для нашего суждения об авторе.

Троцкий не понимает, например, несоответствия между взятим им тоном рассказа и смыслом рассказа. Тон его рассказа — «легкий», будто бы остроумный местами и даже шутливый, в высшей степени самоуверенный и самодовольный, несколько снисходительный к читателю, над которым он чувствует какое-то свое будто бы «признанное» превосходство ума и таланта. Таким тоном, по мнению Троцкого, очевидно, и должен писать человек значительный, замечательный, исключительно умный, необыкновенно многоопытный и вообще очень важный для человечества. Но несоответствие между этим тоном и содержанием книги бросается в глаза всякому. «Легкий», будто бы остроумный местами — и даже шуточный тон совсем неуместен по отношению к временам трагическим, событиям мрачным, нравам жестоким, деяниям зверским, о которых рассказывает Троцкий, плохо умея скрыть их трагичность, мрачность, жестокость и «бестиальность». То превосходство ума и таланта, которые Троцкий предполагает в себе, никогда и ни в чем не доказывается и не подтверждается книгой. Никакой талантливости не видно в его рассказе: ни талантливости писателя, ни талантливости рассказчика. Не видно в книге Троцкого ни малейшего превосходства ума. Никогда и ни в чем мысль его не поднимается над некоторым, весьма средним уровнем и не проявляет никакого своеобразия — это «брошюрочная» мысль. Троцкому, вероятно, кажется, что он как бы господствует над своим читателем, но на самом деле он не умеет достигнуть этого «господства» ни на одну минуту.

Такое несоответствие свидетельствует о том, что Троцкий просто человек не особенно умный. Ленин считал его человеком очень способным. Это, возможно, так и есть, однако способный — совсем еще не значит умный в серьезном значении этого слова. Будучи способным, совсем не кажется он и сколько-нибудь одаренным. Рассказ его о самом себе обнаруживает ту бесплодность, ту пустоту его «неутомимой деятельности», которая свидетельствует об от-

существования настоящего дарования. Многоопытным, все знающим, все понимающим Троцкий кажется опять-таки только самому себе. На самом деле в нем есть даже большая доля ограниченности и наивности; образование его явно недостаточно и поверхностно, кругозор его узок, блуждания его по всему свету не воспитали его, и он так и остался до конца провинциалом. Если он учился чему-нибудь, то учился только, как «подучивается» способный и бойкий гимназист провинциального города. Троцкий не случайно очень долго рассказывает в книге о временах своего, не скажу детства, но мальчишества. Ум его сформировался там в гимназические годы в Николаеве и в Одессе, сформировался притом как-то почти окончательно. В течение лет Троцкий, по-видимому, изменился мало. Он так и остался на всю жизнь способным, но легковесным в умственном смысле, самоуверенным, злым и озорным гимназистом. Такие гимназисты чаще всего кажутся самим себе людьми замечательными...

Но вот пока Троцкий не написал своего «опыта автобиографии», он мог в самом деле казаться примечательным человеком и кому-нибудь другому.

Ведь нельзя отрицать, что этот человек в событиях русской революции сыграл очень большую роль. Не будучи человеком выдающимся и замечательным, Троцкий оказался человеком, конечно, незаурядным и даже особенным, в силу одного своего особенного качества. Это качество, как мы уже видели, никак не ум и не талант. Это даже не характер. Это — *темперамент*, «качество» странное, не правда ли, и как будто бы не призванное играть особую роль в жизни, да еще в политической жизни, в круговороте исторических событий!

Темпераментом гордится, темпераментом славятся актеры. Для актера это могущественная помощь в преодолении того перехода от «быть» к «казаться», который повелевается ежедневно его профессией. На политической, на революционной, говоря более точно, сцене выступил Троцкий сразу одним из «премьеров» именно благодаря своему огромному темпераменту. Именно благодаря своему темпераменту он сразу затмил в 1917 г. другого актера революции, менее удачного, менее темпераментного актера, несмотря на все его старания и усилия в этом направлении — Керенского.

Но что обозначает эта преобладающая роль чисто актерских позиций в нашей революции? И это соревнование ее «вождей» в чисто

актерских способностях? Это указывает, конечно, на преобладающую роль толпы в этих событиях, пусть, если угодно, «революционной толпы». Сцена революции у нас была ярмарочной сценой: революционные балаганы возвышались среди площади, залитой черной толпой. На подмостках одного революционного балагана ломался Керенский, на подмостках другого — бесновался Троцкий. Сей последний в качестве большевицкого зазывателя... Что именно он выкрикивал — совершенно не важно. Чем элементарнее было то, что он выкрикивал, тем было это нужнее для его слушателей, покинувших ради него балаган его конкурента. «Чистая публика», интеллигенция, с презрением сторонилась большевицкого балагана, думая, что «народ» не поддастся на лживые зазывания темпераментного «брехателя» (в Америке именно так называют балаганных зазывателей). Троцкий временами более или менее искренно воображал себя «народным трибуном», обращающимся к «революционным гражданам». Но на самом деле здесь не было граждан тоже, была толпа...

Толпа, «революционные толпы» — в этом вся сила Троцкого, и эта сила сделала его в 1905 году главой Петербургского совета рабочих депутатов и в 1917 — вторыми после Ленина «вождем» восторжествовавшего большевизма. Если бы надо было в автобиографии этого «народного трибуна» избрать несколько сцен наиболее характерных для его жизни, наиболее рисующих самую его сущность, я не поколебался бы избрать такие с особенным удовольствием рассказанные им эпизоды, где по одному ли, по другому ли поводу, среди то любопытной, то взбудораженной толпы какие-то люди подхватывают его на руки и тащат его куда-то, всегда очень довольного собой — все равно «арестом» своим или «триумфом».

Так было в Канаде, когда в апреле 1917 года английские власти решили его задержать и освободили лишь по телеграмме временного правительства.

— «Вооруженные матросы набросились на нас и, при криках “позор” со стороны значительной части пассажиров, снесли нас на руках... Десяток матросов держали меня на руках»... Так было и по приезде Троцкого в Петербург, во время митингов в цирке Модерн. «Каждый квадратный вершок был занят, каждое человеческое тело уплотнено... Я попадал на трибуну через узкую траншею тел, почти на руках. Воздух, напряженный от дыхания,

взрывался криками, особенно страстными воплями цирка Модерн. Вокруг меня и надо мною были плотно прижатые локти, груди, головы. Я говорил как бы из плотной пещеры человеческих тел... Уйти из цирка Модерн было еще труднее, чем в него войти.

В полузабытьи истощения сил приходилось плыть к выходу на бесчисленных руках над головами толпы»...

Так случилось наконец и в январе 1928 года в Москве перед ссылкой в Верный. Жена Троцкого рассказывает: «Лев Давидович отказался идти. Агенты взяли его на руки. Мы поспешили за ним... Спускаясь с лестницы Лев (сын) звонит во все двери и кричит: несут товарища Троцкого. Испуганные лица мелькают в дверях квартир и по лестнице... Прибыли на совершенно пустой вокзал. Агенты понесли Льва Давидовича как раз от квартиры, на руках».

В таких сценах Троцкий видит какой-то свой апофеоз «перманентного» революционера. Ради таких сцен он, в сущности, живет. Они отмечают своего рода «этапы» его деятельности. Для характеристики этого человека, для измерения его удельного веса достаточно помнить, что он совершенно серьезно считает эти жалкие сцены какими-то героическими моментами и совершенно не понимает, до какой степени они отвратительны и комичны!

Но если таков Троцкий, то стоит ли вообще о нем разговаривать, стоит ли читать его книги, стоит ли о ней писать? Да, стоит, именно, быть может, потому особенно и стоит, что он *такой*. Ведь именно такой, какой он есть, он оказался *в высшей степени к месту* в революции нашей и в 1905 году, и в 1917 году. Книга Троцкого, рассказывающая по намерению автора больше всего о нем самом, помимо его намерения, свидетельствует очень многое и очень печальное о русской революции.

Нас поражает в рассказе Троцкого, с какой легкостью давал себя «поднять», «смутить», взбунтовать, говоря яснее, простолудин русский там, где скопился он в начинавших быть большими и промышленными наших городах. Троцкий рассказывает, как в 1897 году в Николаеве, едва успев окончить гимназию, устроил он с несколькими приятелями кружок пропаганды. Едва только успели основаться в Николаеве заводы, едва там собралось тысяч десять рабочих, как «рабочие шли к нам в кружок самотеком, точно на заводах нас давно ждали... Не мы искали рабочих, а они нас. Молодые и неопытные руководители, мы скоро стали захлебываться в вызванном нами движении»...

Заметим, что Троцкий с приятелями тогда едва-едва сами успели узнать кое-что из брошюр о марксизме, о социал-демократии. Ведь даже интеллигенция русская сама еле-еле успела узнать марксизм. В 1893 году вышла книга о нем в России, автором ее был П. Б. Струве. И вот, через четыре года, в далекой русской провинции гимназист Троцкий и подобные ему «пропагандисты» с такой невероятной легкостью обрабатывают сотни и тысячи рабочих, обращая их в «социал-демократов»!..

Что же это могло значить? Какой-нибудь западный социал-демократ, какой-нибудь Каутский, ничего бы не понял перед таким феноменом русского «революционного процесса». Троцкий в своем рассказе сам дает ему верное объяснение. «Они искали правды социальных отношений, — говорит он про николаевских рабочих, — некоторые из них считали себя баптистами, штундистами, евангельскими христианами. Но это не было догматическое сектантство. Рабочие просто отпадали от православия, баптизм становился для них переходным этапом на революционном пути. В первые наши беседы некоторые из них еще употребляли сектантские обороты и прибегали к сравнениям с эпохой первых христиан. Но почти все скоро освободились от этой фразеологии, над которой бесцеремонно потешались более молодые рабочие».

Здесь Троцкий дает очень важное показание. Русский простолудин конца прошлого века и начала нынешнего, в городах и особенно в заводской обстановке, легко отпадал от веры и вступал в полосу искания «правды социальных отношений». Те мирные «правды», которые предлагало ему сектантство, он скоро и очень охотно менял на «правду», предсказывавшую ему бунт. Он в сущности искал оправдания всегда таившейся в нем возможности, потребности, иногда даже жажды бунта. Это оправдание давали ему революционные теории, преподносившиеся ему пропагандистами из числа интеллигенции и полуинтеллигенции. С величайшей легкостью он схватывал в этом как раз то, что ему было нужно. Пропагандисты думали, что превращают мгновенно «отсталого» работника в «передового» пролетария-революционера, благодаря магической силе своего красноречия или Марксовой истины. На самом деле бунтовщик, сидевший в русском простолудине, искал лишь оправдания, разрешения, иногда даже только предлога своей потребности взбунтоваться. Точно так же искал он этого

в Смутное время и при Пугачеве. Точно тем же остался он в 1897, в 1905, в 1917 году.

Пророчество Пушкина было Россией забыто, было непонятно. Русский бунт не казался нам и отцам нашим беспощадным и уж, конечно, никак не казался бессмысленным. Но, называя русский бунт бессмысленным, Пушкин хотел выразить как раз эту русскую способность взбунтоваться ради самого бунта...

В 1905 году интеллигенция, стремившаяся к революции, не смогла облечь в форму революции разнообразные вспышки бунтов рабочих, мужицких, солдатских и матросских. Кое-где эти бунты против властей перемежались с бунтами погромными и «черносотенными». В нескольких случаях принимали они характер бунтов против «господ вообще», против «образованных», против интеллигенции. Интеллигенция стремилась сделать то, что было вообще невозможно: осмыслить бессмысленные бунты, «облечь» их в революцию. Но власть устояла. Революционно настроенная интеллигенция сожалела, что революция не удалась. Мало кто понимал, что жалеть тут было нечего даже революционерам. Революция в России, быть может, и была возможна, но отнюдь не народная, не «простонародная». Мог случиться лишь всеобщий простонародный бунт, но для того нужны были какие-то чрезвычайные обстоятельства.

И вот эти обстоятельства наступили в 1917 году. Революция с первых шагов крайне неосторожно заключила в столице союз с бунтом солдатским, матросским, рабочим. Постепенно бунт распространился на армии фронта, на тыл, на города России, на деревни. Бунт сделался всеобщим. Большевики оказались во главе его только потому, что давали ему полное оправдание, полное разрешение, полную санкцию. Я видел собственными глазами, как в Севастополе взбунтовавшаяся часть флота и гарнизона, после долгих поисков «за кем идти» нашла, наконец, жалкую кособокую и косноязычную девицу, некую Островскую, большевичку третьей статьи. «Темными» черноморских матросов, солдат-минеров и артиллеристов никак конечно назвать было нельзя. Из них всякий был в десять раз умнее и смысленнее Островской. Ничему, разумеется, научить их она не могла, ни в чем убедить их она не могла, но это было им и неважно. Они не очень и вникали в то, что она говорила. Но от нее как от большевички, как от большевицкой делегатки они получали *разрешение на бунт*,

на расправу, на грабеж, на безвластие, на смуту, на наживу. И это было все, чего они тогда искали и вот тогда и нашли...

Приблизительно ту же роль, что Островская в Севастополе сыграл Троцкий в Петербурге. Для самих большевиков другого «заговорщического» типа, типа Ленина, эта роль была неожиданностью. Они получили от немецкого штаба разрешение приехать в Россию, чтобы «обострить» революцию, но когда приехали, то толпа потребовала от них разрешения на бунт. Это даже превышало желание немцев и в первую минуту смутило даже некоторых большевиков. Такого разрешения не дал бы, конечно, ни один западно-европейский социалист и революционер. На подмостках своего балагана Керенский извивался, стараясь убедить толпу, что революция разрешается и даже благословляется, но что бунт «строго воспрещается». Толпа отхлынула от него, разочарованная, и повалила к большевикам. Тут Троцкий оказался для них драгоценнейшим человеком в своей роли зазывателя. Он и был тем «орателем», который действительно орал на всю Россию, что бунт разрешается и поощряется. При этом он сам не понимал хорошенько, что он делает. Он воображал себя «народным трибуном», призывающим «граждан» к революции. Ленин, решивший разрушить всеобщим бунтом Россию, пожертвовать ею ради успеха революции на Западе, только усмехался про себя. Когда революция на Западе не состоялась сразу, он в ожидании ее нехотя принялся на пепелище всероссийского престолярного бунта строить какое-то смехотворное подобие государства, в которое, впрочем, сам никогда не верил.

Любопытно прочесть у Троцкого об этих первых временах «советского строительства». — «Каждое заседание совнаркома представляло картину величайшей законодательной импровизации. Все приходилось начинать с начала. Прецедентов искать было негде, ибо таковыми история не запаслась... Ленин с жадной нетерпеливостью стремился ответить декретами на все стороны хозяйственной политической и культурной жизни. Он знал, что революционные декреты выполняются пока лишь на очень небольшую долю. Декреты имели в первый период более пропагандистское, чем административное значение».

В этом пропагандистском, в этом «показательном» государстве, в этом государстве, управляемом декретами для галерки, Троцкий, естественно, продолжал играть прежнюю большую



актерскую роль. То было прямое продолжение цирка «Модерн». Он оказал большевизму значительные услуги в новом балагане брест-литовских переговоров о мире. Среди большевиков не нашлось бы никого, кто сумел бы себя держать так, как он держал себя в Брест-Литовске среди немецких и австрийских «государственных» людей. То был все тот же бойкий, развязный, дерзкий и озорной гимназист Троцкий, «не лазящий за словом в карман», вызванный к директору гимназии на педагогическое совещание. «На несколько минут конференция превращалась в марксистский кружок для начинающих»... Несколько лет тому назад я встретил в Риме бывшего главу немецкой делегации Кюльмана. Разговор наш коснулся Бреста. Кюльман оживился, вспомнил Троцкого. «В жизни моей я не видел такого нахала!» — воскликнул он. «Но, говорят, он умен», — сказал я. Кюльман немного подумал. «Нет, — ответил он, — нет. Но мы были тогда еще глупее его».

Этот «нахал» оказался очень полезен большевикам в гражданской войне, Ленин в душе своей был убежден, что смехотворное, созданное им «на время» подобие государства не устоит против натиска патриотических русских армий. Он понимал, что никакого «революционного народа» не существует в России и не верил, что бунтующая толпа, живущая в нормах лишь «пропагандистских декретов», сможет оказать серьезное сопротивление. Здесь Ленин ошибался. Бунтовщики дерутся, и иногда очень хорошо дерутся. Они упорно дрались в Смутное время и под Стенькой Разиным, еще упорнее под Пугачевым. Надо было поднять их драться в 1918–1919 году. Тут очень многое сделал темперамент Троцкого.

Всецело ему обязаны большевики тем, что не были разгромлены в первые же месяцы Гражданской войны под Казанью. Столь же обязаны они ему и тем, что Юденич не взял Петербурга. Армия Юденича подошла к Петербургу тоже ведь уверенная, что существует какой-то «народ», который «восстанет и сбросит кучку насильников». Это была ошибка. Это была старая интеллигентская иллюзия, которую так долго мы все в той или иной степени разделяли. Троцкий приехал в Петербург и в несколько дней восстановил в нем *атмосферу бунта*, атмосферу 1917 года, необходимую для сопротивления. «Советские граждане» сражались плохо. Но Троцкий нашел и выбрал среди них таких же яростных, как он сам, бунтовщиков. Тем, кто успел забыть, кто они такие, он напомнил, что они бунтовщики, рискующие своей головой.

Бунтовщики пошли драться и дали войскам Юденича мало ожидаемый ими отпор. Этот отпор имел огромное психологическое значение. Войска, которые шли к Петербургу, не столько шли драться, сколько освобождать. Они полагали, что их ждут как освободителей. Теперь они должны были очень быстро перестроить свою психологию на иное задание, на задание тяжелой борьбы с бунтовщиками. К этому в большей своей части они не были подготовлены и этого не сумели сделать.

Так в конце концов случилось то, во что мало верил Ленин и на что мог надеяться только легковесный и самоуверенный Троцкий. «Кривая» вывезла большевиков: они победили в Гражданской войне. Не прошло и трех лет, как Троцкий, оказавший в этой войне такие несомненные услуги советской власти, сделался вдруг «объектом» медленно и постепенно развивавшихся, но упорных гонений. История эта очень любопытна и поучительна для понимания того, что происходило и происходит в России.

Рассказывая эту историю, Троцкий все время объясняет ее причинами чисто личными — сначала безмерной подлостью «эпигонов», т. е. Сталина, Каменева и Зиновьева, потом неукротимой ненавистью наиболее хитрого и решительного из них Сталина. Причиной этой борьбы против него считает он исключительно зависть к его «блеску», к его талантам, к его популярности и боязнь того, что он займет место «главы», вакантное вследствие слабоумия, а потом и смерти Ленина. В таком «незамысловатом» подходе есть, конечно, своя доля правды. «Эпигоны», как он называет Сталина и других, его возненавидели, это верно. Но, может быть, все-таки в основе своей их ненависть и не была завистью к его «блеску» и его талантам. Таланты эти вовсе не казались Сталину и другим столь необыкновенными, как казались они самому Троцкому! Людей, которых он называет «эпигонами», раздражало в нем нечто другое. Это нечто другое и был все тот же «знаменитый» его темперамент, все тот же актерски-революционный темперамент — все то же его главное и в сущности единственное «качество», которым гордился он в роли «перманентного революционера».

На некоторых страницах его собственной книги он как будто прозревает на момент истину, но потом забывает ее перед личными счетами... «Меня не раз спрашивали, — пишет он, — спрашивают иногда и сейчас: как вы могли потерять власть?.. Когда революционеры, руководившие завоеваниями власти, начинают на известном

этапе терять ее, мирно или катастрофически, то это само по себе означает упадок влияния определенных идей и настроений в правящем слое революции, или упадок революционных настроений в самих массах или и то и другое вместе... Идеи первого периода революции теряли незаметно власть над сознанием того партийного слоя, который непосредственно имел власть в стране... У того слоя, который составлял аппарат власти, появились свои самодовольные цели, которыми он стремился подменить революцию... Временная остановка стала превращаться для многих и многих в конечную станцию... Создавался новый тип... Когда напряжение отошло и кочевники революции перешли к оседлому образу жизни, в них пробудились, расцвели и развернулись обывательские черты, симпатии и вкусы самодовольных чиновников. Не все же и не всегда для революции, надо и для себя — это настроение переводилось так: *«долой перманентную революцию!»*.

В этих выдержках Троцкий сам объясняет все. И все-таки он не понимает того, что происходит с ним и с другими, вокруг него. Он загипнотизирован мыслью, что «возглавлял революцию», и он желает «перманентно» возглавлять перманентную революцию. Он не понимает того, что он в 1917 году не возглавлял революцию, но распоясывал бунт, а в последующие три года возглавлял вместе с Лениным этот бунт. Бунт кончился, роль Троцкого была сыграна. Наступили «какие-то» будни. Троцкий не понял смысла будней, но эти будни как раз и свидетельствовали о том, что бунт кончился, началась революция.

Ибо что такое, в конце концов, революция? Это — перераспределение в стране власти, это — переход всяких благ из одних рук в другие, это — создание нового правящего слоя. Такой правящий слой начинает создаваться только в тот момент, когда он начинает рассуждать: *«Не все же и не всегда для революции, надо и для себя...»*

Ленин и Троцкий жили чисто книжными, скорее даже брошюрочными представлениями. Они все ждали осуществления «царства пролетариата» и так и не дождались его. Ленин умер, Троцкий остался жив и был готов к «перманентному бунту», наивно принятому им за революцию только на том основании, что он возглавлял этот бунт, а он считал себя революционером! Но такая позиция «смутьяна» совсем «не устраивала» тех, кто из кочевников революции превращался в оседлых ее обитателей.

Троцкий сделался сразу ненужным, лишним, и не скажу опасным для них, но вредным во всяком случае.

Пока бушевал всероссийский бунт, пока устраивалось не всерьез нелепое советское государство, пока шла гражданская война — текло время. Понемногу слеплялся из разных подозрительных личностей, наблюдающих прежде всего свой собственный интерес, правящий слой. Он образовывался под видом партии и приобретал некоторую «жесткую» структуру в виде партийного аппарата. Во главе этого «жесткого» партийного аппарата оказался Сталин. Власть над Россией и блага России перешли постепенно в лапы подозрительных личностей, именуемых партийными аппаратчиками. Чем более открыто эти аппаратчики говорили «не все же и не всегда для революции, надо и для себя» — тем более настоящими хозяевами революции они являлись.

На этом принципе «для себя» устраивается новый правящий слой, ради этого принципа «для себя» устраиваются вообще революции. Новый правящий слой несколько не отвечал наивным представлениям Троцкого о том, что ярмарочные выкрики «вся власть пролетариату» могут когда-нибудь оправдаться! Но этот слой, в высшей степени пестрый по своему социальному составу, именно тем и был крепок, что работал и старался для себя, стремясь захватить блага власти и имущественные блага, оставленный без хозяина всероссийским бунтом.

Троцкий настолько живет книжными представлениями, что он окрестил тотчас Сталина и «сталинцев» — термидором. Он вообразил, хотел воображать, что они повернут «вправо». На самом деле это, конечно, не верно. На наших глазах Сталин и «сталинцы» занимаются такими вещами, о которых не мечтал никогда самый «левый» большевик!

Тут дело вовсе не в каких-либо правых и левых «уклонах». Тут все объясняется гораздо проще и гораздо крепче. Это борьба за то «для себя», до которого дорвались Сталин и сталинцы — за собственную выгоду и, может быть, за собственную шкуру. Возглавляемый Сталиным пестрый и авантюристический правящий слой партийных людей не нашел, очевидно, способов к «сосуществованию» с крестьянской Россией. Он не остановился перед походом на нее, перед форменной войной с нею, перед желанием сломить ее, разгромить, уничтожить, стереть с лица земли. В сравнении с такими революционными делами игруш-

кой кажутся выкрики Троцкого о «перманентной революции». И это, конечно, далеко от книжно-брошюрочных представлений туповатого Ленина. Хищный и пестрый авантюристический слой, возглавляемый Сталиным, делает ставку ва-банк, желая окончательно закрепить свою позицию правящего слоя — полновластного хозяина изуродованной России.

Что же касается Троцкого, то раз не предвидится новых ярмарочных балаганов, с подмостков коих можно выдавать за революцию бессмысленный бунт, его роль, по-видимому, сыграна. Ему может быть придется еще и еще выпускать «темпераментные книги», где снова восхвалит и превознесет самого себя. Для молчания у него не хватит ни ума, ни такта. В этом отношении он — второй Керенский.

А может быть, стихия русская опрокинет натиск партийных сталинских добытчиков и восстанет наконец против ненавистной советской власти? Вот тогда вновь появится и толпа, и в этой толпе, притягивающей его как магнит, возможно, снова Троцкий. Снова какие-то руки схватят его и потащат... Ибо печален конец в русской толпе того, кто призывал ее некогда бунтовать и кто оказался в ней тогда, когда она уже «опомнилась», «раскаялась» и прокляла свой бессмысленный бунт.

